Григорий Сулухия

Петр Андреевич Павленко

SHOUT
SHARE
IT

- Павленко Петр Андреевич

Павленко Петр Андреевич
Григорий Сулухия

Петр Андреевич ПАВЛЕНКО
ГРИГОРИЙ СУЛУХИЯ
Рассказ

Он ранен был на рассвете. Степь казалась ровной, как стол, - некуда упасть, чтобы не заметили издали. Беспокоило, что добьют миной или раздавят танками. Он хотел найти ложбинку, но не успел. Когда же, превозмогая тяжелое оцепенение, очнулся он - вид степи удивительно изменился.

"Значит, я полз в беспамятстве", - подумал он и обрадовался. Встал, скрипя от боли зубами, взглянул на окровавленную шинель, почувствовал, что самое грузное в его отяжелевшем теле - грудь, и сделал несколько шагов, сам не зная куда. Ноги его сразу же зацепились за бугорок. Он зашатался, не имея сил переступить через крохотный ком земли, и, предупреждая неизбежное падение, медленно, осторожно прилег. Отдышавшись, пополз.

Степь точно скомкало. Когда Сулухия поутру бежал в атаку, он даже не глядел под ноги, такая она была ровная. А сейчас, когда он лежал плашмя, она была скомкана, в ложбинах и бугорках - как блестящая зеленая волна на свежем ветру, - и Сулухия тревожился, что санитары, разыскивая раненых, могут не заметить его. Сделав ползком несколько метров, он заметил невдалеке немца, а рядом с ним стальную каску, стоявшую подобно чаше. Рука убитого лежала в ней, словно ища влаги. У Сулухия захватило дыхание.

"Я никуда не уполз, - подумал он в ужасе, - я все время лежал на одном месте, потому что я же на рассвете и убил его. Свалил штыком и видел, как, падая, немец снял с себя каску и, поставив рядом, опустил в нее руку".

Сулухия прильнул лицом к земле. Мелкая, острая блестящая зелень напоминала шерстку молодого зверька, тонко пахла чебрецом. Заныла грудь. Теперь, когда не осталось надежд на спасение, грудь заныла, точно до сих пор только намеренно сдерживалась.

Как закончился бой и где теперь его рота, Сулухия не знал; глаза его были слабы, чтобы далеко видеть, а слух терялся в грохоте выстрелов, которые, клубясь, катились по всему горизонту. Он снова попробовал ползти, осторожно выгибаясь всем телом, точно держал на плечах одну свою окровавленную

грудь. Боль была всюду, болела и ныла как бы сама его кровь, само дыхание. Он боялся сделать резкое движение, чтобы еще больше не разбередить страдания. Он отдался боли, и боль взяла его. Но, измучив сознание до галлюцинаций, до бреда, истрепав нервы до того, что все дрожало в нем, обессилив мускулы до изнеможения, боль не могла сделать ничего большего, и Сулухия, привыкнув к ней, понял, что есть в его существе уголок, стоящий выше боли, и что этой здоровой и сильной частью он может думать и соображать. И тогда он заторопился. Подумать следовало о многом, времени же для этого последнего дела могло не хватить.

Первой пришла мысль, что он, Григорий Сулухия, умирает зря, ничего не сделав такого, ради чего стоило бы погибнуть. Ну, шел в атаку, ну, стрелял в немцев, ну, даже убил одного, - ай, кацо, большое дело, подумаешь!

"Я должен был умереть вот когда: три года назад, в наводнение, подумал он, раздражаясь на себя. - Клянусь богом, двух ребят мог тогда спасти. Или вот, когда пожар был в Поти, на грузовом пароходе, и надо было спасать ценный груз, тогда тоже хороший случай был. Я мог много сделать, но испугался. Если бы тогда погиб, слава пошла бы. А я испугался, и вот смерть пришла и берет меня даром".

Мысль, что он дважды мог погибнуть со славой и убоялся и этим отстранил от себя добрую славу, а сейчас помирает в полной безвестности, разозлила и опечалила его. Он был мингрелец, то есть человек огненной вспыльчивости. О мингрельцах говорят, что они - заряженная граната, у которой испорчен предохранитель: никогда не знаешь, отчего и как такая граната может взорваться. Злость оказалась сильнее боли: даже голова закружилась от нее. Окровавленной рукой Сулухия пытался схватить пучок травы и вырвать его из земли, как клок волос, но трава была молодая и не давалась пальцам. Да, смерть застала Григория Сулухия врасплох. Смерть даром брала его из жизни. Это было очень обидно, потому что дела уже не поправишь.

Он вспомнил Зугдиди, веселый дом свой и мать старуху. Она была такая певунья, что сама о себе говорила: "Мне бы годов только хватило, а песен на двести лет припасено". Старая, она уже стеснялась петь и все приставала к сыну, чтобы он пел за нее. "Когда я не пою, у меня голова болит", признавалась она своим.

Мингрельцы певучи, как птицы, и мать не выдумывала. Мингрелец и во сне запоет, и перед смертью прошепчет начало песни. "И вот, - подумал Григорий, - мать ничего не получит от него - ни славы, ни песни. А что обо мне споешь? Что я сделал?"

Он долго бы еще злился на себя, долго терзался раскаянием за упущенную славу, но ухо его вдруг уловило шорох шагов. Он отбросил все мысли и подтянул поближе винтовку.

Три немецких солдата уже миновали Григория, когда услышали лязг затвора. Они все сразу повалились на землю. Выстрела не последовало. Тогда они подползли к Сулухия и, видя, что он не держится на ногах, поволокли его за руки по земле. Он потерял сознание и не испытал всех мук этого тяжелого пути. Очнулся он уже в селе, где стояли немцы. Это-то село и должен был взять на рассвете Григорий Сулухия.

Дурно говоривший по-русски немец выплеснул на Сулухия ведро воды и, словно это должно было сразу же вернуть бодрость раненому, стал расспрашивать, из какой он части, где она и что в ней. Вместе с сознанием к Григорию вернулось и то настроение, в котором находился он до самого подхода трех немцев, - настроение, полное ярости против самого себя.

Злость ходила в нем ходуном. Он дрожал, зубы его стучали, и глаза были раскрыты, как бы готовые к прыжку на противника.

- Ты слышишь, о чем я тебя спрашиваю? - сказал немец.

- Конечно, слышу! Что я, глухой, что ли?

- Тогда отвечай!

- Зачем буду отвечать? Мое дело: хочу - говорю, хочу - нет, - ответил Сулухия.

Сухощавый, маленький, невероятно подвижный, как все мингрельцы, которых труднее схватить, чем солнечный блик, он лежал перед немцем, опершись на локоть, и не мигая глядел на него злыми глазами. Он и в мирное время не терпел, чтобы с ним так разговаривали, а немцу он тем более не мог простить оскорбительных вопросов.

- Плохо тебе будет, если ничего не скажешь, - предупредил немец.

- Кому плохо? Мне? Ай, не раздражай меня, говорю тебе. Сволочь, тебе плохо будет, не мне. Слышишь?

Тут один из солдат, взявших его, с размаху ударил по правой руке Григория и сжал ее.

- Сволочь! Кого пугаешь? Дай мне винтовку, тогда смотри, что будет. В глаза я вам наплевал.

- Ты ведь не русский, а грузин, - сказал немец. - Расскажи, что надо, и мы тебя мучить не будем, а отправим в госпиталь. Мы грузин уважаем.

- Сказать ничего не могу, показать только могу, - запальчиво ответил Сулухия и левой, здоровой рукой сделал такой жест, от которого лицо немца побагровело от оскорбления.

- Видал? Нет? Вот все мои сведения.

Тут набросилось на пленного несколько человек. Они сломали ему вторую руку и, сорвав с него шинель, гимнастерку и белье, стали вырезать на спине пятиконечную звезду. Быть может, если бы это была первая боль, он застонал бы или даже вскрикнул. Но он уже с утра привык к боли, а злость помогла ему держаться, когда он ослабевал. Лоскутья кожи были содраны со спины. Немец опять спросил, не расскажет ли чего-нибудь пленный.

- Что скажу? Сволочь ты, вот что скажу. Кого пугаешь? Людей не видал, виришвило!* Думаешь, если ты сказал: грузин уважаю, - так я тебя тоже уважать буду? Мы люди. Ты кто? Шакал и крыса тебя родили. Ты разве человек? У маймуна** зад красивей, чем твоя морда. У, заячий выкидыш! Была бы в моих руках сила, глаза бы у тебя под язык заскочили!

_____

* В и р и ш в и л о - осел (груз.).

** М а й м у н - обезъяна (груз.).

Сулухия сплюнул и, отвернувшись от немца, оглядел село. Дома из керченского известняка, с земляными, поросшими густой травой крышами, были полуразрушены, будто их только что выкопали из земли, как древность. Несколько насмерть перепуганных жителей жалось у домов. На улицах валялись обломки танков, коровьи рога, рваная солдатская обувь. Солнце низко стояло над пожелтевшей степью. Безмолвные, похожие на летучих мышей птицы бесшумно реяли стаями над единственным уцелевшим деревом в селе. Близился тихий вечер.

- Ой, дэда, спой теперь обо мне! - прошептал Григорий с глубокой нежностью. Вспомнился ему похожий вечер у себя дома, когда мать, выйдя к чинаре, что осеняет их двор своей трепещущей тенью, суровым старческим голосом запевала какую-нибудь древнюю, всеми забытую и потому свежо звучащую песню. - Мать, спой теперь обо мне!

- Одумался? Заговорил? - спросил его немец.

- Э, не мешай! - ответил Сулухия почти спокойно.

Все, что умели эти мерзавцы сделать с ним жестокого, мучительного, они уже сделали. Но и он, Григорий Сулухия, красноармеец двадцати шести лет из Зугдиди, куда даже птицы прилетают учиться петь, и он исполнил свое - был тверд, как сталь. А сейчас он хотел остаться наедине с собой, чтобы взглянуть на прожитое с гордостью.

- Азиат! Спокойно умереть хочешь? Не дам! - прокричал взбешенный немец.

Но не таков был человек Сулухия, чтобы позволить на себя кричать, особенно перед смертью.

- А ты сам кто? - закричал он, перебивая немца. - В Азию не пустим, из Европы выгоним, тогда кто будешь? Много кричишь, сам себя пугаешь. Отстань, говорю!

- В огонь! В огонь его, негодяя! - распорядился немец.

Костер, на котором солдаты разогревали свои консервы, уже почти догорел, когда Григория бросили на раскаленную золу и закидали сверху соломой.

- Тебе осталось еще минут пять, - немец наклонился над посиневшим, все перенесшим и уже ко всему безучастным Сулухия.

...Тихий вечер разложил по степи свои лиловые и синие тени. Но с востока грозно надвигался на тишину рокочущий шум сражения. Он напоминал грозовую ночь. Солома, тлея снизу, все еще никак не могла вспыхнуть. Немец поднес к соломе большую, похожую на портсигар, зажигалку с тремя фитильками, и огонь, хрустя и попискивая, побежал во все стороны.

Жители, видевшие страшную смерть Григория Сулухия, говорят, что как только огонь коснулся его лица, он вскрикнул, как во сне, и захотел приподняться на переломанных руках, чтобы выбраться из огня, и тогда услышали люди последний - долгий-долгий, медленно растущий вскрик Григория Сулухия. Вскрик, похожий на песню, вскрик-песню. Может быть, позвал он: "О Грузия-мать, спой теперь обо мне!"

Или, прощаясь с Зугдиди, к старухе матери обратил свой зов: "Мать, спой теперь обо мне!"

Или, слыша огненный рокот недальнего боя, звал к славе товарищей, уже врывающихся в село: "Братья, умираю впереди вас".

И все. Не застонал, не дрогнул телом, - умер, точно упал с высоты, как птица, умершая в полете.

Село было взято к началу ночи. Костер еще пылал, и обуглившееся тело Сулухия сохранило черно-багровую звезду между лопатками.

Сулухия похож был на сгоревшее в бою знамя, от которого огонь не тронул лишь эмблему стяга - звезду из негорящей стали.

1942